

Предисловие к первому изданию

Предлагаемое читателю сочинение было найдено в библиотеке, принадлежащей католической семье старинного происхождения, на севере Англии. Оно было напечатано готическим шрифтом в Неаполе в 1529 году. Насколько раньше этой даты было оно написано — неясно. Главные события повести приводят на ум мрачнейшие века христианской эры — именно тогда верили в возможность подобных происшествий; но ни речь, ни поведение действующих лиц не несут на себе печати варварства. Повесть написана на чистейшем итальянском языке. Если бы она возникла приблизительно в то же время, когда якобы происходило рассказанное в ней, то следовало бы заключить, что это имело место где-то между 1095 и 1243 годом, то есть между Первым и Последним крестовым походом, или немного позже. В повести нет никаких других обстоятельств, которые позволили бы опреде-

лить, к какому периоду относится ее действие; имена персонажей — явно вымышленные и, возможно, намеренно изменены; однако испанские имена слуг, по-видимому, указывают на то, что она не могла быть создана ранее воцарения в Неаполе арагонской династии, ибо лишь тогда испанские имена распространились в этой стране. Изящество слога и пыл автора, сдерживаемый, впрочем, удивительным чувством меры, заставляют меня предполагать, что повесть была сочинена незадолго до ее напечатания. Литература достигла тогда в Италии своего наивысшего расцвета, и ею было многое сделано для того, чтобы рассеять суеверия, которые в эту эпоху подвергались чувствительным ударам и со стороны реформаторов. Вполне вероятно, что какой-нибудь сообразительный монах мог постараться обратить против провозглашателей новых истин их собственное оружие и воспользоваться своим дарованием сочинителя для того, чтобы укрепить в простонародье старинные заблуждения и суеверия. Если его намерение было именно таким, то надо признать, что он действовал с замечательной ловкостью. Произведение, подобное публикуемому нами, способно поработить непросвещенные умы более, нежели добрая половина полеми-

ческих книг, написанных со времени Лютера и до наших дней.

Такое истолкование побуждений автора представляет собой, однако, лишь чистую догадку. Каковы бы ни были его намерения и достигнутые им результаты, его сочинение может быть ныне предложено публике только как предмет для занимательного времяпрепровождения. И даже в этом качестве оно нуждается в некоторых извинениях. Чудеса, призраки, колдовские чары, вещие сны и прочие сверхъестественные явления теперь лишились своего бывшего значения и исчезли даже в романах. Не так обстояло дело в то время, когда писал наш автор, и тем более в эпоху, к которой относятся излагаемые им якобы действительные события. Вера во всякого рода необычайности была настолько устойчивой в те мрачные века, что любой сочинитель, который бы избегал упоминания о них, уклонился бы от правды в изображении нравов эпохи. Он не обязан сам верить в них, но должен представлять своих действующих лиц исполненными такой веры.

Если читатель извинит эти мнимые чудеса, он не найдет здесь больше ничего недостойного его интереса. Допустите только возможность данных обстоятельств, и вы увидите, что действующие

лица ведут себя так, как вели бы себя все люди в их положении. В произведении нет напыщенности, нет вычурных сравнений, цветистых оборотов, отступлений и преизбыточных описаний. Каждый эпизод толкает повествование к развязке. Внимание читателя непрерывно держится в напряжении. Развитие действия почти на всем протяжении рассказа происходит в соответствии с законами драмы. Персонажи удачно обрисованы, и — что еще важнее — их характеры выдержаны от начала до конца. Ужас — главное орудие автора — ни на мгновение не дает рассказу стать вялым; притом ужасу так часто противопоставляется сострадание, что душу читателя попеременно захватывает то одно, то другое из этих могучих чувств.

Кое-кто, возможно, подумает, что образы слуг написаны в манере недостаточно серьезной для повествования такого рода; но, кроме того, что они составляют контраст главным персонажам, автор весьма остроумно использует их в ходе повествования. Благодаря своей naïveté* и простодушию они открывают многие существенные для сюжета обстоятельства, которые никаким иным путем не могли бы быть удач-

* Наивности (*фр.*).

но введены в него. Женские страхи и слабости Бьянки в последней главе играют весьма важную роль в приближении развязки.

Для переводчика естественно быть предубежденным в пользу, так сказать, усыновленного им произведения. Более беспристрастные читатели, возможно, не будут так сильно поражены красотами этой повести, как был поражен ими я. Однако я не настолько ослеплен моим автором, чтобы не видеть его недостатков. Я мог бы пожелать, чтобы в основе его замысла лежала более полезная мораль, нежели та, что сводится к мысли: *за грехи отцов караются их дети, вплоть до третьего и четвертого поколения*. Сомневаюсь, чтобы в его время дело обстояло по-иному, чем в наше, и честолюбцы подавляли свою ненасытную жажду власти из страха перед столь отдаленным наказанием. Но и эта мораль ослаблена внушаемой читателю другой, хотя и не столь прямо выраженной, мыслью, что даже такие проклятия могут быть отвращены набожным почитанием святого Николая. Тут интересы монаха явно возобладали над расчетами сочинителя. Однако при всех сделанных выше оговорках я не сомневаюсь в том, что знакомство с этим произведением доставит удовольствие английскому читателю. Благочестие, преисполняющее

эту повесть, преподаваемый ею урок добродетели и строгая чистота чувств спасут ее от осуждения, которого так часто заслуживают романы из рыцарских времен. Если ей выпадет успех, на который я весьма надеюсь, то, поощренный им, я, возможно, опубликую итальянский подлинник, хотя это лишит ценности мой собственный труд. Наш язык не обладает очарованием, присущим итальянскому, сильно уступая ему в разнообразии и гармонии: достоинства итальянского языка с особым великолепием проявляются в простом безыскусственном повествовании. Рассказывая по-английски, трудно избежать слишком низких или слишком возвышенных выражений — недостаток, который я отношу на счет малой заботы о чистоте языка в повседневном общении. Каждый итальянец или француз, каково бы ни было его общественное положение, считает делом чести говорить правильным языком, отбирая слова и выражения. Я не могу похвалиться тем, что вполне передал совершенство моего автора в этом отношении: его слог настолько же изящен, насколько замечательно его умение живописать страсти. Жаль, что он не использовал своего таланта в той области, которая, очевидно, подходила ему более всего, — то есть в театре.

Я не буду долее задерживать внимание читателя и позволю себе сделать еще лишь одно небольшое замечание. Хотя сюжет этот порожден воображением автора, а имена действующих лиц вымышленные, я все же не могу отказать от мысли, что в основе повести лежат какие-то подлинные происшествия. Действие, несомненно, происходит в каком-то действительно существовавшем замке. Часто кажется, что, описывая отдельные части замка, автор ненамеренно воспроизводит то, что сам видел. Он говорит, например, «горница справа», «дверь слева», «расстояние от часовни до покоев Конрада». Эти и другие места в повести заставляют с большой степенью уверенности предположить, что перед взором автора было какое-то определенное строение. Лица любознательные и имеющие досуг для такого рода разысканий, возможно, найдут у итальянских писателей сообщения, послужившие автору источниками для его произведения. Высказывая суждение, что данный труд вызван к жизни какой-то подлинной катастрофой, во всем подобной описанной в нем, мы надеемся, что это будет способствовать интересу к нему и сделает в глазах читателя «Замок Отранто» еще более волнующей повестью.

Предисловие ко второму изданию

Благожелательный прием, который встретила у публики эта небольшая повесть, вызывает у автора потребность объясниться по поводу причин, натолкнувших его на мысль сочинить ее.

Но прежде чем изложить эти мотивы, автор должен испросить прощения у читателей за то, что в первом издании, представляя им свое произведение, он выдал себя за его переводчика. Так как неверие в собственные силы и новизна предпринятого труда были единственными побуждениями для этого маскарада, он льстит себя надеждой, что его поступок сочтут извинительным. Он смиренно доверился беспристрастному суду публики, твердо решив дать своему произведению затеряться в безвестности, если оно не будет одобрено, и не мысля заявлять себя сочинителем такого пустячка иначе как в том случае, если судьи, лучшие, чем он сам,

выскажутся в пользу его детища и он сможет, не краснея, поставить на заглавном листе свое имя.

В этом произведении была сделана попытка соединить черты средневекового и современного романов. В средневековом романе все было фантастичным и неправдоподобным. Современный же роман всегда имеет своей целью верное воспроизведение Природы, и в некоторых случаях оно действительно было достигнуто. В вымысле нет недостатка и ныне; однако богатые возможности воображения теперь строго ограничены рамками обыденной жизни. Но если в новом романе Природа сковала фантазию, она лишь взяла реванш за то, что ею полностью пренебрегали в старинных романах. Поступки, чувства, разговоры героев и героинь давних времен были совершенно неестественными, как и вся та механика, посредством которой они приводились в движение.

Автор произведения, следующего за этим предисловием, счел возможным примирить названные два вида романа. Не желая стеснять силу воображения и препятствовать его свободным блужданиям в необъятном царстве вымысла ради создания особо занятных положений, автор вместе с тем хотел изобразить действующих в его трагической истории смерт-

ных согласно законам правдоподобия; иначе говоря, заставить их думать, говорить и поступать так, как естественно было бы для всякого человека, оказавшегося в необычайных обстоятельствах. Автор замечал, что в боговдохновенных книгах, когда Небо жалуется людям чудесами и люди воочию зрят самые поразительные явления, они и тогда сохраняют все черты, присущие человеческому характеру, тогда как, напротив того, в легендарных историях рыцарских времен всякое невероятное событие сопровождается нелепым диалогом. Действующие лица словно теряют рассудок в то самое мгновение, когда нарушаются законы Природы.

Поскольку публика благосклонно отнеслась к предпринятой автором попытке, он не смеет утверждать, что совсем не справился с поставленной перед собой задачей; однако, если ему и удалось проторить путь, по которому пойдут другие, блистающие большими дарованиями сочинители, он должен со всею скромностью признать — и охотно делает это здесь, — что понимал, сколь значительно мог бы быть усовершенствован его план, будь у него сильнее воображение и владей он лучше искусством живописания страстей.

Я хотел бы, с разрешения читателей, добавить несколько слов к тому, что я говорил в первом предисловии относительно слуг. Простодушная непосредственность их поведения, которая порою может даже насмешить и поначалу кажется противоречащей общему мрачному колориту повествования, не только не представлялась мне мало уместной здесь, но как раз была намеренно мною подчеркнута. Единственным законом для меня была Природа. Какими бы глубокими, сильными или даже мучительными ни были душевные переживания монархов и героев, они не вызывают сходных чувств у слуг; по крайней мере, слуги никогда не выражают их с таким достоинством, как господа, и потому навязывать им такую манеру недопустимо. Позволю себе высказать суждение, что контраст между возвышенностью одних и naïveté других лишь резче оттеняет патетический характер первых. Когда простонародные персонажи затевают свое грубое шутовство и тем самым отдаляют читателя от ожидаемой им трагической развязки, само его нетерпение, быть может, усиливает в его глазах значительность финальных событий и уж, во всяком случае, свидетельствует о том, что сочинитель ловко сумел возбудить его интерес

к ним. Однако, приняв такую манеру изображения, я опирался на более высокий авторитет, нежели мое собственное суждение. Великий знаток человеческой природы Шекспир был тем образцом, которому я подражал. Позвольте задать вопрос: не утратили ли бы его трагедии о Гамлете и Юлии Цезаре в значительной степени свою живость, не лишились ли бы они многих удивительных красот, если б из них были изъяты или облечены в высокопарные выражения юмор могильщиков, дурачества Полония и неуклюжие шутки римских граждан? Разве красноречие Антония и по внешности еще более благородная, искусно имитирующая искренность речь Брута не кажутся еще возвышеннее благодаря мастерскому приему автора, позволившего тут же прорываться в репликах их слушателей простой человеческой природе? Эти штрихи напоминают мне выдумку того греческого ваятеля, который, желая дать представление об истинных размерах Колосса Родосского, уменьшенного до размеров печатки, изобразил рядом с ним мальчика величиной с большой палец самой статуи.

«Нет! — говорит Вольтер в своем издании Корнеля. — Это смешение шутовского и воз-

вышенного нетерпимо». Вольтер — гений*, но не шекспировского размаха. Не прибегая к спорным авторитетам, я противопоставлю Вольтеру самого же Вольтера. Я не буду обращаться к его прежним панегирикам нашему могучему поэту, хотя французский критик дважды перевел один и тот же монолог из «Гамлета» — первый раз несколько лет назад ради того, чтобы дать о нем восторженный отзыв, а потом второй раз ради того, чтобы подвергнуть

* Нижеследующее примечание не имеет отношения к разбираемому вопросу, но оно извинительно для англичанина, глубоко уверенного в том, что суровый критический отзыв такого талантливого писателя, как Вольтер, о творчестве нашего бессмертного соотечественника мог быть лишь упражнением в остроумии и плодом поверхностного знакомства с предметом, а никак не результатом обдуманного суждения и тщательного исследования. Разве осведомленность критика в том, что касается силы и могущества нашего языка, не может быть столь же неточной и неполной, как и его знание нашей истории? Этому последнему обстоятельству его собственное перо дало убедительнейшие подтверждения. В своем предисловии к «Графу Эссексу» Тома Корнеля г-н де Вольтер признает, что в этом произведении правда истории грубо искажена. В извинение Корнелю он ссылается на то, что в ту пору, когда этот автор писал, французское дворянство было весьма мало начитано в английской истории, но теперь, говорит комментатор, ее изучают, и с такого рода искажениями не стали бы мириться. Однако, забыв, что время невежества миновало и что нет необходимости учить ученых, он, от избытка своей эрудиции, берется сообщать знати своей страны подробности относительно фаворитов королевы Елизаветы, из которых, по его словам, первым был Роберт Дадлей, а вторым — граф Лейстер. Кто бы мог поверить этому, но приходится разъяснять самому г-ну де Вольтеру, что Роберт Дадлей и граф Лейстер — одно и то же лицо!